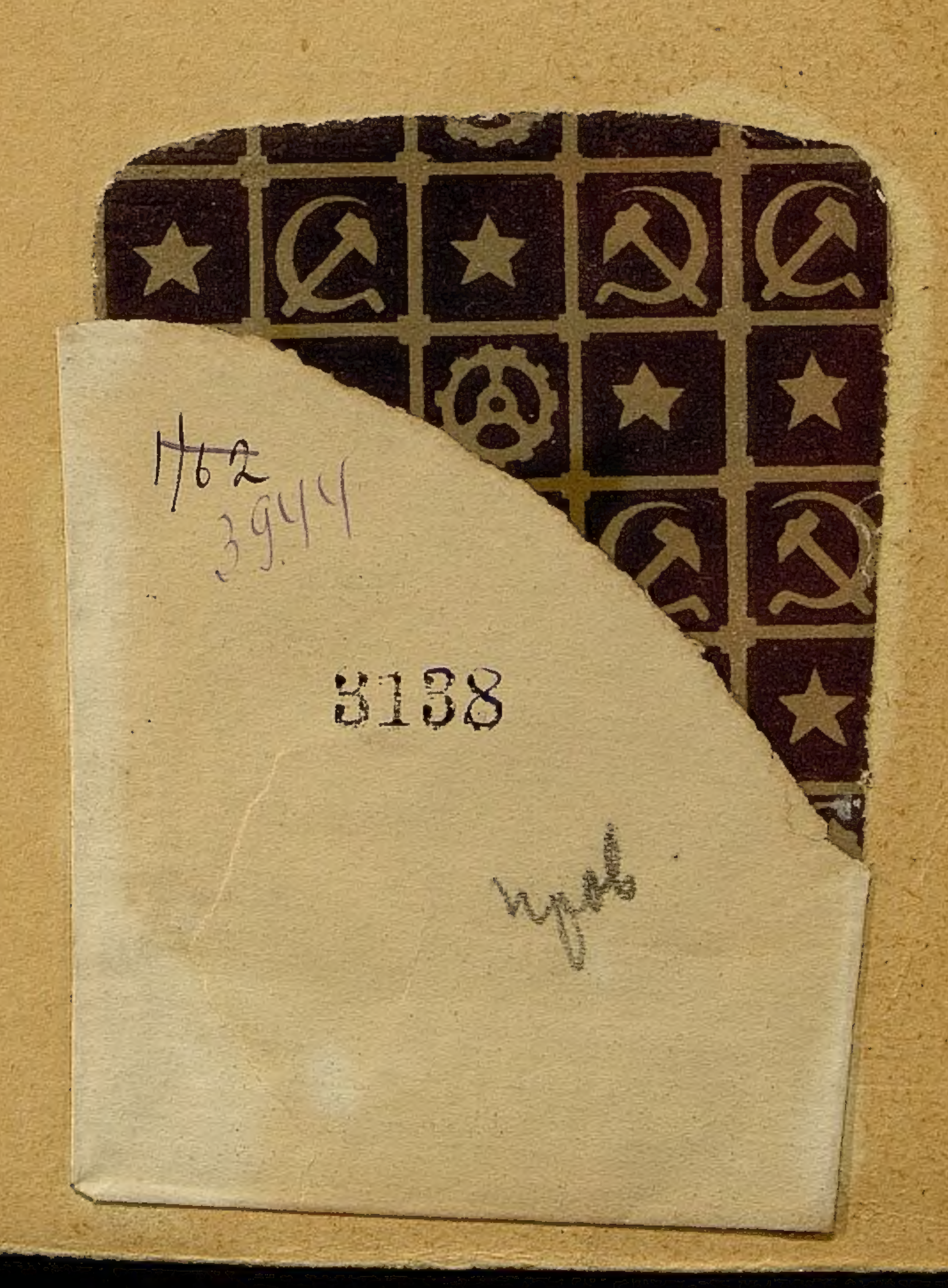
М. ГОРЬКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ТОЛСТОМ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
З. И. ГРЖЕБИНА
ПЕТЕРБУРГ
1919



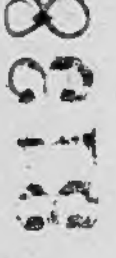
1/62
3944
3138

№ 67

№ 67.

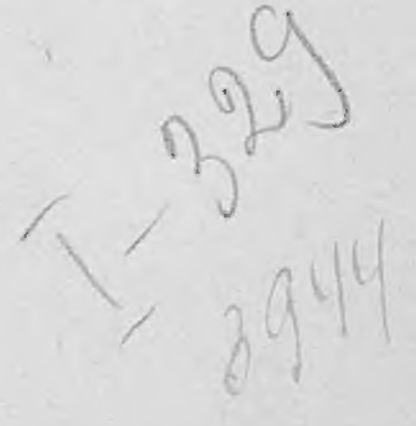
М. ГОРЬКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ТОЛСТОМ





ИЗДАТЕЛЬСТВО
З. И. ГРЖЕБИНА
ПЕТЕРБУРГ
1919





* *
*

Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала—тяжко больной, потом—одолев болезнь. Я считал эти заметки—небрежно написанные на разных клочках бумаги—потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его,—этого, почему-то, нельзя сделать.

М. Горький.

ЗАМЕТКИ.

I.

Мысль, которая заметно чаще других точит его сердце—мысль о Боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а—напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает—всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти,—нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И—немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинять свою волю какому-то стрептококу. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II.

У него удивительные руки,—не красивые, узловатые от расширенных вен и всетаки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не

на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который „сидит на кленовом престоле под золотой липой“ и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III.

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески,—в этой любви чувствуется гордость создателя,—а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер—какая-то восхительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо ее они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер—не надежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может—уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем—на три века. Огня жизни—так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

IV.

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:—Какой-то маленький немецкий царек сказал:—„Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки“. Это—

верная мысль, верное наблюдение—музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики,—наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка;—это он признавал, а всетаки говорит: „Не могло этого быть". Я спрашиваю: но—как же тогда? Пожал плечами и сказал: „Сие для меня тайна"!

V.

„Интеллигент—это галицкий князь Владимирко, он еще в 12 веке говорил „предерзко": „В наше время чудес не бывает". С той поры прошло шестьсот лет и все интеллигенты долбят друг другу: „Нет чудес, нет чудес". А весь народ верит в чудеса так же, как верил в 12 веке".

VI.

„Меньшинство нуждается в Боге, потому что все остальное у него есть, а большинство потому—что ничего не имеет".

Я бы сказал иначе: большинство верит в Бога по малодушию, и только немногие—от полноты души.

VII.

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо—ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя—иногда—любуется им,

но—едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню—Его девки засмеют.

VIII.

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, очень умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по французски, то по английски. По русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев—длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь— обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Под'ячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но— очень, очень забавный.

IX.

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир—не для них, Бог—тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его, — зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди—пеньки, корни, камни по дороге — о них спотыкаешься, и, порою, от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним,

X.

„Фридрих Прусский очень хорошо сказал: „Каждый должен спасаться a sa façon. Он же говорил: „Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь“. Но, умирая, сознался: „Я устал управлять рабами“. Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие—не глупость: дурак—упрям, но противоречить не умеет. Да—Фридрих—странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гете и Виланда не любил...“

XI.

„Романтизм“—это от страха взглянуть правде в глаза,—сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатане а ерундистика, как говорили в средние века,—бессмысленное плетение слов. Поэзия—без-искусственна; когда Фет писал:

Не знаю сам, что буду петь,
Но только песня зреет,—

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поэт,—ох, да-ой, да-эй— а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые все выдумывают. Есть такие глупости французские—„артикль де Пари“—так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже?—спросил Сулер.

— Беранже—это другое! Что же общего межлу

нами и французами? Они—чувственники, жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего—женщина. Они—изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные—чувственники.

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а—жениха нет...

XII.

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза—еще острей, взгляд—пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать,—человеком решенных вопросов.

XIII.

Если-бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно—в пресные воды земных рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного—никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV.

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову,—читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства—много. Настоящая мудрость немногословна, как—Господи помилуй.

А сказочка—свирепая.

XV.

Его интерес ко мне—этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему и—только.

XVI.

Читал ему свой рассказ „Бык“, он очень смеялся и хвалил за то, что знаю „фокусы языка“.

— Но распоряжаетесь вы словами неумело,—все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно,—не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно,—под глупостью слов у них всегда спрятанс желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у

вас—все нараспашку и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже не верно,—афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это—другое. Это не сегодня сделано.

— Однако, вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете все: и людей, и природу, особенно—людей! Так делал Лесков, писатель—вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь,—тогда будет хорошо...

XVII.

В те радке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: „Бог есть мое желание".

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его,—что это?

— Незаконченная мысль,—сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами.—Должно быть, я хотел сказать: Бог есть мое желание познать его... Нет, не то...—Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения „двух медведей в одной берлоге".

XVIII.

О науке.

— „Наука—слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу,—значит: начеканить множе-

ство фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты—не поблагодарит он нас“.

XIX.

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десяти-фунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими, вот, лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что—и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови, и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX.

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня, в Миндальной роще, он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородук, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о „Вареньке Олесовой", „26 и одна". С обычной точки зрения речь его была цепью „неприличных" слов. Я был смущен этим и даже—обижен, мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI.

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и всетаки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки и по детски—трубой—сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это—какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерной для этой птицы.—На всю жизнь одна песня, а—ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность—справедливо ли это?—задумчиво и как бы сам себя спросил он.— Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал и—забыл, а

она—помнит. Может быть, ревность—от страха унизить душу, от боязни быть униженным и смешным?. Не та баба опасна, которая держит за...., а которая—за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с „Крейцеровой сонатой“, он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет—трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно,—у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль и вдруг—нет ее. Каждая мысль впивается в душу его точно клещ, он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения „Отца Сергия“—бесжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится?—спросил Л. Н.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Это гнилая девица и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так—можно оправдаться жалостью к девице—кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого...

— Ты много не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

— Леопольд—самый чистый человек, какого я знаю. Он—тоже так: если сделает дурное, то—из жалости к кому-нибудь.

XXII.

Больше всего он говорит о Боге, о мужике и о женщине. О литературе—редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее,—если она не Китти и не Наташа Ростова, т. е. существо недостаточно ограниченное. Это вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа, против „унизительных порывов плоти"? Но это—вражда и—холодная, как в „Анне Карениной". Об „унизительных порывах плоти" он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу „Исповеди" Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег ее на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII.

Утром были штундисты из Феодосии и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком: „Пришли они,—оба такие крепкие, плотные; один говорит: „Вот,—пришли незваны", а

другой—„Бог даст—уйдем не драны“. И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа: мы, вот, говорим: „теория прогресса“, „роль личности в истории“, „эволюция науки“, „дизентерия“, а мужик скажет: „шило в мешке не утаишь“ и—все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что непонятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: „Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка“.

XXIV.

— „Телом женщииа искреннее мужчины, а мысли у нее—лживые. Но когда она лжет—она не верит себе, а Руссо лгал—и верил“.

XXV.

„Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, т. е. это же он мог бы сказать про самого себя“.

XXVI.

„Некоторые церковные слова удивительно темны—какой, например, смысл в словах: „Господня земля и исполнения ее“. Это—не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм“.

— „У вас где-то истолкованы эти слова“—сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано... „Толк—отесть, да не втолкан весь“.

И—улыбнулся хитренько.

XXVII.

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как, по вашему, сын мой Лев—талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним—нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М?

Это—озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. „Испытует“ он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако,—не очень по душе мне. Он—чорт, а я еще младенец и не трогать бы ему меня.

XXVIII.

Может быть, мужик для него просто—дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько:

— Лопатой! По.... Лопатой, а? По самой, по.... И—широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы—по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал...

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда...

— Чем ни живи—все равно! Вы—не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

— Смешной вы... Не обижайтесь,—очень смешной! И очень странно, что вы всетаки добрый, имея право быть злым... Да, вы могли бы быть злым... Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчав, добавил задумчиво:—Ума вашего я не понимаю—очень запутанный ум,—а вот сердце у вас—умное... да, сердце умное!

ПРИМЕЧАНИЕ.

Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка, у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже „девочкой для радости". С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове—грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь.

„Что-нибудь"—всегда было одним и тем же—стаканом вина со льдом...

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни княжны Д.—Г., их отец интендант—генерал куда-то уехал, мать—умерла. Генеральша Корнэ не взлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По русски она говорила плохо, но ругалась—отлично, как хороший ломовой извощик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням,—они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня, две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тибе! Ти—им зялит окно, когда ночь..

Я рассердился, взял ее за плечм и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

— Я луччи эти крис.

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины,—бабы тоже пьяной, но весьма лукавой—взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис—нитшего—слюший! Иди еще назади... Не надо боясь..

XXIX.

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится,—в одном из его рассказов есть такое уравнение деревенского коновала с доктором медицины:

„Слова „гильчак", „почечуй", „спущать кровь" разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т. д."

Это сказано после Дженера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX.

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты,—точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI.

„Диккенс очень умно сказал: „Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты". Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: „Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом". Бальзак не стыдился и Диккенс тоже, а оба напи-

сали не мало плохого. А всетаки Бальзак—гений, т. е. то самое, что нельзя назвать иначе—гений...

XXXII.

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас—мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О, Господи! Не надо же ему хвастать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы „На дне"; он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я об'яснил, как умел.

— Везде у вас заметен петушиный наскок на все. И еще—вы все хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните у Андерсена сказано: „Позолота-то сотрется, свиная кожа останется", а у нас мужики говорят:—„Все минется, одна правда останется". Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом—язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто—бессвязно, а—хорошо. Мужик не спросит: „почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех", как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов—не надо.

Он говорил недовольно, видимо ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас—не симпатичный, в доброту его—не веришь. Актер, ничего, хорош. Вы „Плоды просвещения“ знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому—у вас нет характеров, и все люди—на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена А. Л. и пригласила к чаю, он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV.

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними, по гнилому небу скользила, не спеша, красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды—звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно—точно дымок—оно быстро исчезало в гнойном, жидком, небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом—всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевитая чернота, кровельного железа. Л. Н. сказал:—Ну, это у вас от ученой

книжки, прочитали что нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина гладкая, как лист бумаги нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только —чуть видны—высовываются из под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги—пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это—страшно! Вы, в самом деле, видели это,— не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольнс, строго, постукивая пальцем по колену.

— Ведь, вы не пьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах всетаки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали и все в этом роде, так он был пьяница, — „калаголик“, как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это вправду страшно! Даже, если вы и придумали—очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

— А, ведь, представьте-ка: вдруг, по Тверской, бежит ломберный стол, эдакий—с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цыфры на зеленом сукне видать — это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз

такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины и перед ним— глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого седеть начал, руки стали трястись и уехал заграницу к доктору Кнейпу, лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое—он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

— Сапоги-то идут—жутко, а? Совсем пустые—теп, теп,—а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А всетаки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV.

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и

другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого.

Вчера, пред обедом, он явился в гостинную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не все, нет,—не все.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взлянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве... Плеве...—задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

— У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

„Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи все мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но Бог его прибрал для райской жизни в ночь
С Пятницы на Субботу Страстной недели“—

и еще что-то такое же... Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости,—когда она не злая— есть очень трогательное, даже милое... Всегда есть...

Позвали обедать.

XXXVI.

„Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают несвойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино“.

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица ихтоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

— Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота,—ах, Боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

ПИСЬМО.

Только что отправил письмо Вам—пришли телеграммы о „бегстве Толстого“. И вот,—еще не раз, единенный мысленно с Вами—вновь пишу.

Вероятно все, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло,—уж вы извините меня,—я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и—душат.

Он много раз и по долгу беседовал со мною; когда он жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги,—мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и—во всем прекрасного, да, да во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами,—в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле. Ибо он—так сказать—всеоб'емлюще и прежде всего человек,—человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное,

деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в „житие иже во святых отца нашего блаженного болярина Льва“. Вы знаете— он давно уже собирался „пострадать“; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему—но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а—с явным и—повторю—деспотическим намерением усилить гнет своих религиозных идей, тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете — заставить. Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы—современем — прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что „мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками“,—он все знает! И всетаки говорит:—„Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление“. Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему—по эту. Писатель национальный в самом истинном и всеоб'емлющем значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь „неделания“, „непротивления злу“—проповедь пассивизма,—это все нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и—так сказать—химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой, неуклон-

ным, действенным сопротивлением злу жизни. То, что называют „анархизмом Толстого“, в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки, истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление „разбрестись разно“. Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как Вы знаете и все знают. Знают—но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга,—эти печальные, тараканьи путешествия и называются: „История России“, государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честномыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей. К удивлению, ибо мы все „разбредались“ и только когда дошли до мест, хуже которых—не найдешь, дальше идти—некуда, ну—остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учуявшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает—сознательно и бессознательно—лечь высокой горою на пути нации к Европе,—к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально,—в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем—все национально и вся проповедь его—реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо „Интеллигенция, государство, народ“, написанное в 905 году,—какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит

сектантское: „Ага, не послушали меня!“. Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он давно утратил право говорить о русском народе и от его лица, ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходившй к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда—в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это—инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди жить хотят, а он убеждает их: это—пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом, он—лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья. В общем, он, конечно, не Платон Каратаев и не Аким, не Безухий и не Неклюдов,—все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящщего подкрепления проповеди своей. Но—несомненно и неопровержимо, что в целом Русь—Тюлин внизу, а наверху—Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует 905 год, а что Обломов—смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов—оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален,—взгляните, как он пакостно труслив при всей его жестокости. Жулики, конечно, интернациональны.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность—

явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит,—даже и в дневнике своем—молчит, и, вероятно, никогда никому не скажет. Это „нечго" лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде „отрицания всех утверждений",—глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и—одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо—в глубине души своей—равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их—смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от иих в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в „самое главное"—в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал „арзамасский ужас", но ему ли умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него, из Китая, Индии, Америки—отовсюду к нему протянуты какие-то живые, трепетные нити, его душа—для всех и—навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое безсмертие,—почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но с другой стороны—он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню—в Гаспре, после выздоровления, прочитав

книжку Льва Шестова „Добро и зло в учении Нитцше и графа Толстого, он сказал, в ответ на замечание А. П. Чехова, что „книга эта не нравится ему“.

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а—ничего, интересно. Я, ведь, люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: „истина—не нужна“, и—верно: на что ему истина. Все равно—умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

— Если человек научился думать,—про что бы он ни думал,—он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А—какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех—любовь к Богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: „Толстой, Достоевский, Нитцше не могли жить без ответа на свои вопросы и для них всякий ответ был лучше, чем ничего“,—засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит—и других обманул. Ведь это ясно выходит...

Сулер спросил:

— А почему—парикмахер?

— Так,—задумчиво ответил он,—пришло в голову,—модный он, шикарный и—вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу наверное почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас,—он вообще, был небрежен и хотя по женски любил Льва Нико-

лаевича, но относился к нему как-то странно, точно с высока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гете каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и—наврут.

Но, далее, по поводу Шестова.

— Нельзя,—говорит,—жить, глядя на страшные призраки,—он-то откуда знает льзя или нельзя. Ведь, если бы он знал,—видел бы призраки—пустяков не писалбы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов—еврей.

— Ну, едва ли,—недоверчиво сказал Л. Н.—Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев—не бывает, назовите хоть одного... нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там дальше? Совсем ты уничтожишь меня или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова:— „Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо“. И—вслед за этим тотчас же:—„Пострадать бы“.—Пострадать—этотоже его правда, ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще—принять венец мученический. Мученичество, вероятно,

может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой,—с внешней, с формальной стороны. Но—никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни „в книгах премудрости", ни „на хребте коня", ни „на груди женщины" он не испытывал полностью наслаждений „земного рая". Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

„Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И оттого все, что никогда не жил—не умею жить—для себя, для души, а живу на показ, для людей".

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: „Не верю я, что он не был счастлив". А я—верю. Не был. Но—не правда, что он жил, „на показ". Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое, ему нравилось заставлять их, вообще—„заставлять"—читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит или займет их и — ушли бы они прочь. Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о „главном".

Все русские проповедники за исключением Аввакума и, может быть, Тихона Задонского—люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в „На дне", я хотел изобразить вот именно эдакого старичка: его интересуют „всякие ответы", но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

— Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте Бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот—обречен смерти!

Увы, это так, на долго — так. И не могло, и не может быть иначе, ибо — замаялись люди, измучены, раз'единены страшно и все окованы одиночеством, которое высасываст душу. Еслиб Л. Н. примирился с церковью—это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди—одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно—примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: „прощаю ненавидящих мя“. Христианский поступок, а под ним скрыт легонькая, острая усмешечка, ее можно понять, как возмездие умного человека—глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет и мне мерещится какая-то беда. Вот—пришли газеты и уже ясно: у вас там начинают „творить легенду“, — жили были лентяи да бездельники, а нажили—святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства—пусты, а души лучших—полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно—житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что—человек он —безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но—это не важно. Он—человек взыскующий Бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам Евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе,—упростил образ его, сгладил в нем воинст-

вующее начало и выдвинул покорное „воле пославшего“. Несомненно, что Евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более „по недугу“ русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется и стоном своим сотрясает землю, и отвлекает от „главного“. А „Война и Мир“ и все прочее этой линии—не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О „В. и М.“ он сам говорил: „Без ложной скромности—это как Иллиада“. М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку „Детства, отрочества“.

Сейчас были журналисты из Неаполя,—один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о „бегстве“ Толстого,—так и говорят—„бегство“. Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной,—я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он—нет ничего величественнее и дороже нам...

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма и в ней обыкновеннейшими словами сказано—скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел,—мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу,—лежит точно гладкий камень на дне ручья и, наверное, в бороде седой—тихо спрятана его—всем чужая—обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены—отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, — они видели все, насквозь—и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он не по-человечьи умный и—жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и, под имением Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую, угловатую фигурку, в сером, помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками,—между пальцев веют серебряные волосы бороды—и смотрит в даль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся, зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах и окиданы пахучими водорослями,—накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том— когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море—часть его души и все вокруг—от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он—его сосредоточенная воля—призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что—возможно!—встанет он, взмахнет рукой и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат и все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем,

против него. Не изобразить словом, что почувствовал— а не подумал—я тогда; было на душе и восторженно, и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль:

— Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь—чувствую себя сиротой, пишу и плачу,— никогда в жизни не случалось плакать так безутешно и отчаянно, и горько. Я не знаю—любил ли его, да разве это важно—любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из за двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое, и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так:—Здравствуйте,— удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но всетаки—здравствуйте!

Выйдет он — маленький.—И все сразу станут меньше его. Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека „по платью"—древняя, холопья привычка!—начинали струить то пахучее „прямодушие", которое точнее именуется амикошонством.

— Ах, родный ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй во веки и прими поклон мой!

Это—московско-русское, простое и задушевное, а вот-еще русское, „свободомысленное":

— Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника...

И вдруг из под мужицкой бороды, из под демократической, мятой блузы, поднимается старый русский барин, великолепный аристократ,—тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из „прямодушных" русских людей—москвичем—возвращаться из Ясной Поляны в Москву, так он долго отдышаться не мог, все улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Н-ну,—баня. Вот строг... фу.

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А, ведь, я думал—он и в самом деле анархист. Все твердят—анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета,—зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из „глубоких тайн" русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр

Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек—оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах—на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и—не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, „опровергающая слух о смерти Льва Толстого". Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость—жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: „Да, не нравитесь".

— Не любите вы меня?—Да, сегодня я вас не люблю.

В вопросах он был беспощаден, в ответах—сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе, о Фете—с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове—холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это

были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и—на-те!—подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза и—ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот—проще, искреннее. Еслиб он в Бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили—тульский писатель и—таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных,—все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это—главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти,—рассердится, на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал —плохо, он у этих, у фурьеристов учился думать, у Буташевича и других. Потом—ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю—почему! Ведь, тяжело

и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и все—не так было, все проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель,—вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно—язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли,—ничего, не обидно, что я так говорю? Я—старик, и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне все кажется, что она—не русская. Стали писать какие-то особенные стихи,—я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы—он обратился к Чехову—вы русский! Да, очень, очень русский.

И ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто—чудесный.

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из „Отца Сергия", где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я во век не забуду восторга, испытанного мною тогда,—восторга, который

я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, изобильной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах, он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду,—скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь—возьми-ка меня тогда!—И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души Протопопа Аввакума, а где-то наверху или с боку таился Чаадаевский скептицизм. Проповедывало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте—озорник Новгородский, а Чаадаевское усмехалось над этими забавами души да—кстати—и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это—удивительно!—Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, каррикатурист „Симплициссимуса"; всмотритесь в его рисунок—сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на

этом лице со скрытыми, спрятанными глазами, дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит „ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай“.

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко из'ездивший все пустыни мысли в поисках всеоб'емлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него и—хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди „толстовцев“; стоит величественная колокольня и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга—кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и Ясно-Полянский дом, и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В „толстовцах“ есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют „египетской тьмой“ и „слезками“ богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

„Преувеличивает старичек!“

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену „толстовцев“, понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красно-

речиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, прияв учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько: — Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы— о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что все это было бы „не в коня корм". Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжко и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах, — в этом он был чрезмерно „простонароден" и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время—очень личное. Словно его однажды оскорбили и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет,—это было в Хамовниках,—усадил против себя и стал говорить о „Вареньке Олесовой", о „Двадцать шесть и одна". Я был подавлен его тоном, даже растерялся— так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему—это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное—неизбежно, законно, и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно,—это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из „Двадцати

шести", произнося одно за другим „неприличные" слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял „отреченные" слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят—вы очень начитанный,—правда? Что, Короленко—музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это—по контрасту. Он—лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Неправда ли—хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса,—он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это не верно.—Гоголь едва ли знал Диккенса А вы, действительно, много читали,—смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы—настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо—ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад, и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора „Казаков"

„Холстомера“, „Войны“, а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то „народном стиле“, языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем—представление, с которым я сжился, и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботики—настоящие мокроступы,—повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин об'яснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...—

очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, эдаким старым зверобоем, как гикнет. А потом—взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна,—коршун реял над скотным двором, сделает кру, и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на кры льях не решаясь: бить, али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот—вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера...

И—позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону,—изчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он—бы и так ударил...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского—Берви.

— Вы знали его?—оживленно спросил Л. Н. Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский,— высокий, длиннобородый, худой, с огромными глазами,— надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, вареного в красном вине, вооруженный огромным холщевым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный. Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей радикалов он—самый зрелый, самый умный, у него в „Азбуке" очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация—варварская, а культура дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование—лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Додэ—согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы.

— Норманны—это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: „Это другое".

Мне всегда казалось—и думаю, я не ошибаюсь— Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: „знаете вы его? какой он? где родился?"—я слышал очень

часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. К. он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачем,— писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удается москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы—сочинитель. Все эти ваши Кувалды—выдуманы.

Я заметил, что Кувалда—живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы.—Да, да—белая кость! Но—какой милый, какой забавный. А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы—романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни, всеми способамм, даже и насилием.

— А насилие—главное зло!—воскликнул он, взяв меня под руку.—Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас „Мой спутник“ — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда вы думаете—у вас рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды...

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном

окружении человекоподобных и неизбежных „спутников“ наших—все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул мсня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы! Вы—сомнительный социалист. Вы—романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А—Гюго?

— Это—другое, Гюго. Не люблю его—крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой—по его мнению—выбор книг.

— Гиббон, это хуже Костомарова, надо читать Момсена,—очень надоедный, но—солидно все.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною—„Братья Земганно“, он даже возмутился.

— Вот видите—глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще—Мопассан, но Чехов—лучше его. А Гонкуры—сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой и это несколько раздражило Л. Н.,—он с трудом переносил противоречия и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет,—говорил он,—это выдумал итальянец Ламброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия—страна шарлатанов, авантюристов,—там родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это—политика, это—другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно, тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это—правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но, ведь, рыцари будут, Л. Н.!

— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи, молиться за всю семью,—это чудесно! Это—настоящее: вы—грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой—скучающий, стяжатель-строитель,—тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а—вдруг—убил,—ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои—ложь, выдумка, есть просто люди, люди и—больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды говоря о второй части „Мертвых душ", сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы—ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь и вдруг—станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого—убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество—ложь, обман и произвол, и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том,

что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно зиать, как я вижу эту башню, или море, татарина— почему интересно это, зачем нужно?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы—как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ним беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе, лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокру, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь... Это — самое ужасное, самое противное—пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и—не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее—месяц руки не отмоешь— ужас. А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам... да-ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять—шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шопотом:

— Да, да,—ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много,—ах, Боже мой! Вы—не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я—так... стыдно писать о гадостях, Ну—а почему же писать? Нет,—нужно писать все. обо всем...

На глазах у него показались слезы. Он вытер их, и, все улыбаясь—посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу,—сказал он.— Я—старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько, толкая меня локтем;

— Вот и вы,—проживете жизнь, а все останется как было,—тогда и вы заплачете, да еще хуже меня,— „ручьистее“, говорят бабы... А писать все надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, —неправда, не вся правда, скажет. Он—строгий к правде!

Вдруг стряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы— странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а—знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно-пышной, хвастливо-разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его!—маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких,

глубоко земных корней, весь такой узловатый,—среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и—не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа,—хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для него, все—так, как надо, но—не вполне так, и нужно тотчас найти—что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам спорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это не хорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это—тоже нехорошо,—это от недоверия к себе. Я—много пишу и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по моему. Конечно,—я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты—ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь—во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело,—это уже бывало с тобой. Вцепишься, подержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ „Душечка",—ты почти похож на нее.

— Чем?—спросил Сулер, смеясь.

— Любить—любишь, а выбрать—не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все?—повторил Л. Н.—Нет, не все.

И неожиданно спросил меня,—точно ударил:

— Вы почему не веруете в Бога?

— Веры нет, Л. Н.

— Это—неправда. Вы по натуре верующий и без Бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости: это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся—не поймет, да и храбрости нет. Для веры—как для любви—нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе— верую,—и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя об'яснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше—тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле, — непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже —вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год—в другую. Душа таких людей—бродяга, она живет бесплодно, это—нехорошо. Вы родились верующим и нечего ломать себя. Вот вы говорите—красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное—Бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого—не отмолчитесь, нет!

А я, неверующий в Бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

— Этот человек—богоподобен!

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Садовая типо-литография. Петроград, Садовая, 61. Телеф. 76-95.

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

БИБЛИОТЕКА „ЖИЗНЬ МИРА“

под редакцией **М. Горького, В. А. Десницкого-Строева и А. П. Пинкевича.**

Величайшее из чудес, созданных человеком, книга воплощает в себе все знания о жизни мира, всю историю роста мирового разума, весь исторический труд и опыт народов земли,—книга самое мощное орудие дальнейшего развития духовных сил человечества.

Сила и богатство народов не в обилии земли, лесов, скота и ценных руд,—а в количестве и качестве образованных людей, в любви к знанию, в остроте и гибкости разума,—сила народа не в материи, а в энергии.

Русский народ особенно беден духовной энергией, у него слишком мало культурных сил, нет знаний о прошлой жизни мира и о своем историческом прошлом, он не знает, что сделано им в областях технического труда и духовного творчества.

Но именно теперь, когда волею истории вся масса нашего народа призвана к разумному, свободному труду на благо свое,—именно теперь русский народ должен ревностно и любовно приступить к развитию и организации своей духовной энергии, к воспитанию из плоти своей нового человека,—умного, честного, доброго и смелого.

Для этого ему прежде всего необходима книга, в которой воплощена вся мудрость мира, рассказан ход истории всечеловеческого труда и творчества, рост мирового разума, где он увидит, что дали народам Европы победоносные усилия общеевропейской науки, ознакомится с великими заслугами искусства, поймет сказочную силу техники и увидит—наконец—самого себя, свой разум—началом всех начал, источником всех благ.

Вот, в кратких словах, цель, которую ставит пред собой издательство З. И. Гржебина в книжках библиотеки «Жизнь мира»—дать русскому народу массу книг, которые всесторонне осветили бы процесс духовного развития человечества вообще и в частности—России.

В состав библиотеки «Жизнь Мира» войдет ряд серий популярных книг размером от 2 до 5 листов, по такой схеме:

Отдел I. Биографии замечательных людей.

Все эти биографии, посвященные одному лицу или группе родственных по духу и времени деятелей, будут разработаны в тесной связи с развитием той или иной области нашей исторической жизни; каждой русской группе первых девяти серий будут соответствовать на тех же основаниях составленные группы биографий иностранных деятелей.

Отдел II. Гуманитарные науки, литература и искусство.

Художественная литература. Этой серией издательство хочет идти навстречу нуждам новой школы и многомиллионного демократического читателя из среды рабочих и крестьян, которому недоступны по условиям его трудовой жизни—да и не нужны—«полные собрания» сочинений. Редакция ставит себе задачей взять у каждого писателя наиболее ценное и яркое. Отдельному автору будут посвящены один или несколько томов—сборников, некоторые произведения будут изданы отдельными книжками, не исключена возможность об'единения «малых» писателей в одном выпуске. При подборе авторов для этой серии издательство прежде всего будет руководствоваться указаниями примерных программ по русской литературе единой трудовой школы. Выпуски этой серии будут снабжены портретами писателей, краткими редакционными статьями и необходимыми примечаниями. Подробные биографические сведения, оценку творчества писателя, указания на научную и критическую литературу читатель найдет в соответственных выпусках первой серии.

Ставя на первом плане задачу снабжения школы необходимыми пособиями, редакция в то же время считает нужным в этой серии издать и такие произведения художественной литературы, которые были в свое время недостаточно правильно оценены критикой и читающей публикой и неосновательно «забыты», а также и такие, в которых наиболее ярко отразились те или иные явления нашей общественности (образование и развитие общественных классов и групп, нарождение новых культурных запросов и т. п.).

Из этой серии прежде всего готовятся к печати избранные произведения русских писателей: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Державина, Л. Толстого, Гончарова, Островского, Тургенева, Чехова, Короленко, М. Горького, Лескова, Куприна и др.

На ряду с избранными произведениями русской литературы издательство предполагает издать ряд сочинений иностранных писателей.

Наука.

В этой серии издательство намерено дать ряд «Введений» в науки, а также специальные монографии по отдельным научным вопросам.

Строго-научная трактовка вопросов в выпусках этой серии будет соединяться с популярностью изложения.

Основные вопросы реформы и учебные пособия для новой школы.

Основные вопросы реформы—это вопрос об единстве школы, о главнейших педагогических принципах, положенных в основание школьной реформы. В этой серии будут даны брошюры и книги, посвященные наиболее животрепещущим темам современной педагогической мысли. Одновременно издательство приступает к изданию учебников по литературе и истории.

Записки и мемуары, переписка выдающихся личностей.

В этой серии издательство намерено переиздать бывшие уже в печати книги, а также наметило к изданию ряд новых. В частности, особое внимание будет уделено деятелям русской литературы и общественности.

Отдел III. Естествознание и техника.

Задача этого Отдела выражена в его названии. Показать человека и человечество в отношениях к окружающему миру, раз'яснить те завоевания, которые сделал человек в его извечной борьбе с природой, открыть глаза на многое, примелькавшееся и обычное, но тем не менее непонимаемое и таинственное, как в жизни человека, земли, растений и животных, так и технике, этой «второй природе», дать для одних ряд введений в науку и технических руководств, для других сводку новейших знаний, приблизить к широкому читателю науку и ее деятелей, сделав их понятными и близкими,—таковы, в самых общих чертах, цели, поставленные редакцией.

Здесь предлагается выпустить ряд книг, распределенных в нескольких сериях.

Каждый автор будет представлен его основными сочинениями, редакция которых будет поручена известнейшим специалистам.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ И ПЕЧАТАЮТСЯ.

Лавров—Б. А. Фингерта.
Михайловский—его же.
Щапов—Г. А. Лучинского.
В. Соловьев—Б. С. Иофа.
Г. Сковорода—Ф. А. Кудринского.
К. Маркс—В. А. Базарова.
Ф. Энгельс—его же.
Г. Плеханов—его же.
М. Горький—В. Строева.
Г. Лопатин—А. Амфитеатрова.
Н. Бугров—М. Горького.
Карамзин—Е. Соловьева.
Ал-др Веселовский—В. Б. Шкловского.
Потебня—его же.
Пирогов—С. Я. Штрайха.
С. Т. Аксаков—А. Г. Горнфельда.
Ломоносов—акад. В. Стеклова.
Лобачевский—его же.
Кеплер—Предтеченского, под ред. акад. В. А. Стеклов
Братья Ковалевские—В. Шимкевича.
Достоевский—В. В. Гиппиуса.
Лермонтов—его же.
Карл Бэр—Н. А. Холодковского.

Н. Лесков. Скоморох Памфалон. Час воли Божьей. Ска о блохе (Левша). Сказание о Федоре-христианине, с предис М. Горького. Запечатленный ангел. Очарованный странни Соборяне. С пред. В. Десницкого.

В. Слепцов. Трудное время. С пред. М. Горького.

А. Чехов. В овраге. Мужики. С пред. М. Горького.

М. Горький. Сказки об Италии. Рождение человек Ералаш. Страсти-мордасти.

А. Куприн. Белый пудель. Жидовка. Ночная смен Шт.-кап. Рыбников. Изумруд. Мелюзга. Свадьба. Трус.

В. Короленко. Убивец. Иом-Кипур. Река играет. Без язы ка. С пред. М. Горького.

С. Под'ячев. Ревность. Жизнь мужицкая. С пред. М. Горь кого.

Д. Н. Кудрявский. «Как люди жили в старину».
Его же. «Введение в языкознание».

Е. М. Браудо. «Введение в историю музыки».

Г. А. Лучинский. «История Сибири».

Н. А. Рожков. «От самовластия к народовластию» и др.

Цена 12 ~~р. 50 к.~~

Цена утверждена Государственным
Издательством 16 октября 1919 г
за № 1812.

Цена 12р50к.
12р50к

Издательством

Ч Цена ут